
Егор Ралович
Трактат о смерти
18+

Егор Ралович

Трактат о смерти

«Автор»
2026

Ралович Е.

Трактат о смерти / Е. Ралович — «Автор», 2026

Что, если смерть — не частная трагедия, а общее условие мысли, без которого непонятны ни время, ни ценность, ни свобода? Этот трактат предлагает пройти через язык последнего слова, через тело и его предел, через границы протокола и переживания — не для того, чтобы успокоить или напугать, а чтобы спросить: можно ли думать о конце, не сводя его к страху или утешению? Здесь нет рецепта «как правильно умирать» и нет готовых ответов о бессмертии — есть честное различение того, что мы смешиваем слишком часто, и узкое пространство, где понимание ещё возможно. Если вы готовы не закрывать книгу на первой тишине, вас ждёт путь, на котором философия проверяет каждое утверждение о человеке у самой границы, где мысль узнаёт себя.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Первое знакомство 5
Глава 2. Язык последнего 8
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Егор Ралович
Трактат о смерти

Глава 1. Первое знакомство

Человек, который впервые открывает книгу о смерти, обычно делает это не из любопытства к абстракции. Он делает это потому, что смерть уже произошла — не обязательно с ним самим, но рядом: в новости, в больничном коридоре, в письме, в тишине квартиры, где больше не звонит телефон. И потому первая мысль, с которой мы входим в эту тему, почти всегда личная. Кажется, что речь идёт о частной потере, о невосполнимой дыре в собственной биографии. Так и есть — но только на первом, самом поверхностном взгляде. Если остановиться здесь, философия смерти превращается в продлённое некрологическое слово, а мышление — в форму скорби, которая не спрашивает, а только стонет.

Но смерть не принадлежит нам в том смысле, в каком принадлежит имя или воспоминание о детстве. Она не является нашим частным достоянием, хотя каждый переживает её как удар по своему «я». Смерть — общее условие мысли. Не потому, что все должны умереть — это банальность, которую произносят, чтобы закрыть разговор, — а потому, что сама возможность думать о себе как о конечном существе делает мышление иным. Мы не можем понять, что такое время, не имея представления о том, что оно кончается. Мы не можем понять ценность, не сознавая хрупкости. Мы не можем понять свободу, если не ощущаем предела. Даже когда мы не думаем о смерти прямо, мы мыслим в её присутствии — как в присутствии воздуха, который замечают лишь тогда, когда его не хватает.

Отсюда и странное положение философии: она обязана говорить о том, что каждый предпочёл бы не произносить. Не потому, что философ жесток, а потому, что молчание здесь не нейтрально. Молчание о смерти не оставляет нас в покое; оно передаёт страх управлению, утешение — власти, отрицание — привычке. Тогда, когда мы говорим «не будем об этом», мы уже выбрали способ думать — способ, который притворяется отсутствием мысли.

Первое знакомство с темой требует различения. Без него разговор смешивает то, что смешивать нельзя: биологический процесс, событие в жизни и предмет философского исследования. Эти три смерти связаны, но не тождественны. Их смешение — источник большинства недоразумений.

Биологическая смерть — это то, что фиксируют в протоколе: прекращение функций организма, необратимость, граница между живым телом и мёртвым. Здесь работают медицина, биология, право. Здесь спорят о критериях, о мозговой смерти, о моменте, когда человек «уже» умер для других, хотя для него самого, возможно, ещё нет. Биологическая смерть не спрашивает, страшно ли нам; она просто происходит, как происходит дождь или трещина в стекле. Философия не может заменить врача и не должна притворяться лабораторией. Но она не может игнорировать биологическую смерть, потому что именно через неё тема входит в мир — через тело, через боль, через исчезновение дыхания.

Смерть как событие — уже иной слой. Это не только остановка сердца. Это разрыв в ткани отношений, изменение статуса в мире живых, появление пустого места за столом, смена местоимений с «мы» на «они говорят о нём». Событие смерти принадлежит не только умершему, но и выжившим. Оно распределено во времени: подготовка, предчувствие, последний разговор, потом — после. Смерть как событие имеет свидетелей. Она оставляет следы в документах, в памяти, в привычках, которые ещё долго повторяются машинально. Здесь говорят о трауре, о справедливости, о долге помнить. Здесь религия и этика предлагают ритуалы —

не потому, что ритуал объясняет, а потому, что без него событие распадается на хаос частных реакций.

Наконец, смерть как тема философии — не протокол и не похоронное слово. Это вопрос о том, что значит быть конечным, что значит «исчезнуть» для мира смыслов, можно ли помыслить собственное небытие, не впадая в противоречие, и что остаётся от человека, когда исчезает его присутствие. Тема смерти в философии не сводится к страху перед событием, хотя страх может быть отправной точкой. Она шире биологии, потому что касается структуры опыта: мы живём, зная — или подразумевая — что жизнь не бесконечна. Это знание не всегда сознательно; часто оно спит в фоне, просыпаясь в бессоннице, в чужой новости, в внезапном ощущении, что текущий день уже никогда не повторится в точности таким.

Различение необходимо не для холодной отстранённости. Напротив: только различая, мы можем не предавать живого человека его собственной абстракцией. Когда философ говорит о смерти, его обвиняют в бесчеловечности — и справедливо, если он перескакивает через событие к схеме, через боль к термину. Но и обратная ошибка возможна: когда частная скорбь объявляет себя единственным языком, которым можно говорить о конце, и тогда любая попытка мыслить дальше воспринимается как оскорбление. Между этими крайностями и лежит пространство трактата — не равнодушное, но и не растворённое в эмоции.

Почему же смерть — общее условие мысли, а не частная трагедия? Потому что трагедия предполагает исключение: со мной случилось то, чего не должно было случиться. Смерть же не исключение из правил жизни; она — одно из условий, при которых жизнь вообще мыслится как жизнь. Человеческое сообщество держится не только на совместной радости, но и на общем знании конечности. Мы строим дома, несмотря на то, что дом переживёт не каждого. Мы заключаем договоры «на будущее», зная, что будущее не гарантировано лично нам. Мы воспитываем детей, отправляя в них то, что не сможем увидеть до конца. В каждом таком поступке есть молчаливое признание: я не последний. И одновременно — я не бессмертен. Это не парадокс для повседневности; это её фундамент.

Философия начинается там, где повседневное знание перестаёт быть достаточным. Мы умеем жить «как будто» бесконечно — и это необходимо, иначе невозможно было бы ни шагнуть, ни любить, ни работать. Но «как будто» не стирает вопрос; оно лишь откладывает его. Когда вопрос возвращается, он возвращается не как частная неудача судьбы, а как требование мысли: что значит — конец? Не «когда» и не «как болезненно», хотя эти вопросы тоже человечны, — а «что» в онтологическом смысле, если такой смысл вообще допустим.

Здесь необходимо остановиться и назвать главное искушение, которое подстерегает любое знакомство со смертью. Мысль о конце почти неизбежно скатывается в один из двух полюсов: страх или утешение. Страх говорит: думать о смерти — значит мучить себя, разрушать жизнь, отравлять настоящее. Утешение отвечает: думать о смерти — значит найти смысл, загробный порядок, оправдание страдания, красивую формулу, после которой можно успокоиться. Оба полюса кажутся противоположными, но сходны в одном: они хотят завершить мысль, а не выдержать её.

Страх превращает философию в медицину от тревоги — пусть и без рецепта. Утешение превращает её в проповедь — пусть и без храма. В обоих случаях вопрос о конце подчинён функции: успокоить субъекта. А функция, как известно, выбирает аргументы по результату. Тогда смерть становится не темой, а зеркалом нашего дискомфорта или нашей надежды. Мы думаем не о ней, а о себе — о том, как бы нам не было плохо или как бы нам было хорошо.

Постановка вопроса этой книги проста по форме и трудна по содержанию: можно ли думать о конце, не сводя его к страху или утешению? Не «следует ли» — моральные предписания здесь вторичны, — а «возможно ли» мышление, которое не бежит и не закрывает глаза, которое не торгуется с реальностью ради спокойствия и не раздувает ужас ради ощущения собственной глубины.

Попытка ответить потребует честности, непохожей на исповедь. Честности мысли, которая согласна потерять удобные концы. Если окажется, что без страха и без утешения о смерти думать нельзя — это тоже будет результат, а не поражение. Но прежде чем согласиться на такой исход, нужно пройти через различения, через язык, через историю попыток — от древних до современных, — где философия то пряталась за метафору бессмертия, то объявляла смерть орудием разрушения повседневной лжи, то сводила её к чистому ничто, то видела в ней высший смысл.

Первое знакомство не обязано быть приятным. Оно может быть похоже на вход в прохладное помещение, где слишком тихо — не потому, что там никого нет, а потому, что привычный шум жизни здесь кажется неуместным. Некоторые закроют книгу на этом месте, сказав, что всё уже было сказано похоронной процессией или ночным кошмаром. Другие продолжат — не из мужества и не из болезненного любопытства, а из уважения к тому, что мысль не должна зависеть только от того, что приятно слышать.

Смерть как биологический факт напоминает: тело имеет предел. Смерть как событие напоминает: отношения имеют хрупкость. Смерть как тема философии напоминает: смысл не гарантирован вечностью. Три напоминания не совпадают, но перекрываются — как круги на воде от одного брошенного камня. Философский трактат не может вытащить камень обратно. Он может лишь описать, как расходятся волны, и спросить, видим ли мы в них форму или только движение.

Если общее условие мысли — конечность, то философия смерти — не специальная дисциплина для угнетённых духом. Это проверка любого утверждения о человеке. Что мы называем «личностью», если её нельзя отделить от возможности исчезновения? Что мы называем «истиной», если она не нуждается в том, кто её узнал? Что мы называем «справедливостью», если время не бесконечно и не всё успеет быть исправлено? Даже когда трактат не произносит этих слов, они стоят за каждым абзацем — как незримые слушатели.

Первое знакомство заканчивается не выводом, а вопросом, который нельзя отложить без потери честности. Мы привыкли считать, что думать о смерти — значит готовиться к ней эмоционально: бояться, верить, отрицать, надеяться. Но возможно ли иное — мышление, которое не обещает спасения и не требует паники, которое выдерживает конец как мыслимый предел, не объявляя его ни наказанием, ни тайной дверью?

На это нельзя ответить одним жестом. Нужно время, аргумент, противоречие, возвращение к началу — снова и снова, пока знакомство не перестанет быть первым. Пока что достаточно признать: мы входим в тему не как в чужую комнату, а как в условие, без которого наша собственная комната была бы неосмысленной. Смерть не частная трагедия, хотя трагедии случаются. Она — граница, на которой мысль узнаёт себя. И если мы решим идти дальше, мы будем идти не для того, чтобы победить страх или найти утешение, а для того, чтобы посмотреть, останется ли после этого что-то, что всё же можно назвать пониманием.

Глава 2. Язык последнего

Прежде чем смерть становится предметом доказательства или веры, она становится предметом речи. Мы узнаём о ней не только через тело и через событие, но и через слова — чужие и свои. «Его не стало». «Она ушла». «Мы потеряли его». «Он скончался». «Её не стало среди нас». Каждая формула кажется нейтральной, потому что привычна; но привычность здесь не доказательство точности. Это след многократного обхода. Язык, который мы используем для последнего, — не зеркало факта. Это инструмент, которым сообщество договаривается о том, как жить дальше, когда факт уже произошёл.

Философия не может начать с биологии, не пройдя через лексику. Не потому, что слова важнее тел, а потому, что без слов мы не имеем доступа к смерти как к теме. Мы имеем доступ к боли, к тишине, к пустому стулу — но мыслить «конец» мы учимся в языке, который нас предшествует. Ребёнок не рождается со словом «смерть»; он получает его вместе с интонацией, с запретом, с паузой, с тем, как взрослые меняют тему, когда он спрашивает слишком прямо. Так формируется первое знание: о конце можно говорить, но не так, как о других вещах. Смерть входит в сознание не как понятие, а как осторожность.

Отсюда — двойственность языка. С одной стороны, без него невозможно ни траур, ни право, ни память. Имена, даты, причины, ритуальные формулы связывают событие с порядком мира. С другой — язык не просто называет; он смягчает, смещает, заменяет. Там, где прямое наименование кажется жестоким или невыносимым, появляется обходной путь. Эвфемизм — не ошибка речи, а её социальная функция. Он защищает говорящего, защищает слушающего, защищает саму ткань общества от слишком резкого столкновения с тем, что нельзя отменить.

«Не стало» — классический пример. Фраза не описывает процесс; она описывает переживание отсутствия. Человек был — и перестал быть в поле нашего восприятия. «Не стало» не спорит с медициной; она переводит биологический факт в язык отношений. Но одновременно она создаёт иллюзию движения без направления: что-то исчезло, как исчезает предмет из комнаты. Смерть здесь не названа. Она присутствует только как отрицание присутствия. Это утешительно — потому что позволяет говорить, не произнося главного слова. И это же опасно для мысли — потому что мы можем поверить, что говорим о событии, тогда как говорим о своей неспособности выдержать его название.

«Ушёл» добавляет направление. Уход предполагает куда-то. Даже когда «куда» не уточняется, воображение дорисовывает: за порог, в другую комнату, в иной мир, в небытие как в место. Метафора путешествия стара, как человеческая речь о конце. «Отправился в последний путь», «перешёл на тот свет», «вернулся домой» — разные культуры, один жест: смерть не обрыв, а переход. Философски здесь возникает вопрос: описываем ли мы опыт — тело действительно покидает привычное пространство, человек действительно удаляется из круга живых — или мы проецируем на неизвестное единственное знакомое нам движение, движение из точки в точку?

Переход успокаивает, потому что в опыте перехода есть непрерывность. Дорога связывает начало и конец; путник где-то оказывается, даже если мы не знаем где. Но если смерть — не переход, а прекращение, метафора не меняет реальности — она меняет нашу душевную позицию. Мы думаем, что говорим о ней, а на самом деле говорим о себе: о нашей потребности, чтобы у конца было «после». Язык последнего часто оказывается языком первого — первого шага в сторону надежды или хотя бы в сторону переносимости.

«Сон» — ещё древнее и ещё двусмысленнее. «Вечный сон», «почил», «уснул навсегда». Сон близок смерти телесно: неподвижность, закрытые глаза, невозможность ответить. Но сон в опыте обратим. Мы просыпаемся. Поэтому метафора сна одновременно признаёт сходство и скрывает различие. Она делает смерть похожей на то, что мы уже знаем и пережили без ката-

строфы. Для ребёнка «дедушка спит» — способ не вводить сразу в необратимость. Для взрослого «почил» — способ сохранить достоинство: сон ассоциируется с заслуженным отдыхом, с завершением труда, а не с насилием над телом.

Но философия обязана спросить: кого мы успокаиваем этой близостью? Умершего — которому, возможно, уже не нужны наши метафоры? Живых — которым нужно продолжать день? Или саму мысль — которой страшна резкость обрыва? Сон как метафора смерти не ложь в простом смысле; это выбор перспективы. Выбор, который показывает: язык последнего почти никогда не нейтрален. Он либо приближает к факту, либо отдаляет от него ради сохранения речи вообще.

Есть и иные формулы — не мягкие, а административные. «Скончался», «погиб», «умер». Они звучат суше, и потому кажутся честнее. Медицинский протокол, новостная строка, юридический акт — здесь язык притворяется, что он только фиксирует. Но и сухость — форма защиты. Клиническая лексика создаёт дистанцию: говорящий на момент становится не родственником, а функцией. Врач сообщает; журналист констатирует; государство регистрирует. Это тоже способ не быть раздавленным событием. Равнодушие тона — не всегда равнодушие души; чаще это профессиональная необходимость, выработанная там, где прямое выражение горя было бы невыносимым или неуместным. Слово «ликвидирован» в иных контекстах — не нейтральная фиксация, а язык власти; его упоминание здесь напоминает: и «сухая» лексика может быть не прозрачностью, а маской.

Табу усиливает всё сказанное. В некоторых культурах имя умершего нельзя произносить; в других — нельзя говорить «умер» при детях; в третьих — смерть должна быть скрыта за ритуалом, который заменяет слово жестом. Табу не глупость. Оно указывает: есть вещи, которые язык не выдерживает в режиме обыденного обмена. Но табу также производит слепые зоны. То, о чём нельзя говорить прямо, начинают обходить кругами — и круги со временем принимаются за карту местности. Человек может прожить жизнь, слыша только эвфемизмы, и так и не столкнуться с вопросом, что именно они заменяют.

Философская проблема здесь формулируется просто и мучительно: говорим ли мы о смерти, когда используем язык последнего, или говорим только о своих отношениях со смертью? Это не риторический вопрос. Если бы речь была только самоутешением, философия должна была бы отступить: оставить поэзию скорби и протоколы медицины. Но дело в том, что язык, даже уклончивый, всё же указывает на нечто. «Ушёл» говорит об отсутствии в общем пространстве. «Не стало» — о разрыве в поле присутствия. «Конец пути» — о необратимости движения, которое мы привыкли мыслить как продолжающееся. Метафоры не пусты. Они структурируют воображение. Они учат нас, что со смертью можно обращаться как с событием, имеющим форму — пусть и заимствованную из других областей опыта.

Проблема в другом: структурируя, язык одновременно искажает. Он берёт знакомое и накладывает на незнакомое. Мы называем конец «соном», потому что знаем сон. Мы называем его «переходом», потому что знаем дорогу. Мы называем его «уходом», потому что знаем расставание. Ни одна из этих вещей не тождественна прекращению жизни — но без них у нас почти нет слов. Тогда возникает парадокс речи о последнем: чтобы сказать, мы должны сказать не совсем то, что имеем в виду; но если не сказать вовсе, мы останемся в немом ужасе или в немом отрицании.

Некоторые философские традиции пытались решить это радикально — ввести язык, лишённый метафор. Говорить «ничто», «прекращение», «конец сознания» — как будто абстрактные термины ближе к истине. Но «ничто» тоже метафора: оно переносит опыт пустоты, отсутствия предмета, на онтологический план. «Прекращение» описывает процесс с точки зрения наблюдателя, у которого процесс ещё продолжается. Даже самый сухой термин не выходит за пределы человеческой перспективы. Мы не можем занять точку зрения смерти — если только не симуляция, не вера, не спекуляция. Все наши слова остаются словами живых.

И всё же отказ от метафоры — не единственная честность. Язык, который только констатирует биологию, может быть столь же уклончив: он притворяется, что смерть — только остановка функций, тогда как для тех, кто остаётся, она ещё и катастрофа смыслов, и обрушение проектов, и невозможность ответа. Если эвфемизм прячет тело, клинический жаргон может прятать отношение. Честность речи о последнем, возможно, не в выборе между «ушёл» и «умер», а в осознании того, что каждый выбор — частичный, и что частичный не значит бесполезный.

Особенно показателен язык, которым говорят о собственной смерти — или о котором молчат. «Если со мной что-то случится» — формула, отодвигающая неизбежность в условное наклонение. «Когда меня не будет» — более прямо, но всё ещё через отрицание: я описываю себя как отсутствующего, а не называю событие. Люди составляют завещания, выбирают слова для эпитафии, просят «не говорите похороны» или, наоборот, «скажите правду». Эти инструкции показывают: мы знаем, что после нас речь других станет нашим последним присутствием в мире. Мы хотим, чтобы её форма соответствовала чему-то — достоинству, памяти, юмору, молчанию. Даже отказ от слов — речевой акт.

Здесь проявляется этическое измерение языка последнего. Назвать чужую смерть «освобождением» без ведома умершего — это не только метафизика, это жест власти: мы переопределяем чужую жизнь как историю со счастливым концом, чтобы облегчить себе. Назвать её «наказанием» — симметричное насилие. Живые распоряжаются смыслом мёртвых, потому что мёртвые больше не могут возразить. Поэтому табу и эвфемизм — не только психическая защита; это поле, где сообщество договаривается о том, что можно делать с чужим концом. Философия должна видеть в этом не только лингвистику, но и политику памяти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.